

An artistic illustration featuring two white chess knights with flowing manes and ornate golden harnesses, facing each other. In the foreground, a large black king chess piece stands prominently on a checkered board. Several other black chess pieces are visible in the background. The scene is set against a dark, textured background.

Сергей Патрушев

**Белый конь —
Чёрный король**

Сергей Патрушев

Белый конь — Чёрный король

<https://litres.ru/74307953>

SelfPub; 2026

Аннотация

Шахматная доска — это мир. Фигуры — его обитатели. А правила игры — неумолимая судьба, но что если однажды фигура осознает себя и задаст вопрос: "Кто я — инструмент в чужих руках или свободное существо?"

Белый Конь рождается на клетке b1 и сразу ощущает гнёт предопределённости. Его траектория — буква «Г», его роль — атака и жертва, его противник — Чёрный Король, но через череду партий, гамбиты, вилки, цугцванги и бесконечные шахи, Конь проходит путь от бунта к принятию, от ненависти к состраданию.

Каждый шахматный приём становится философским уроком: жертва оборачивается приобретением, изоляция — гибелью, а последний мат — не убийством, а освобождением.

Это роман-притча о том, что смысл Игры не в победе, а в красоте пройденного пути, потому что в конце все фигуры возвращаются в коробку и враги становятся просто деревом, лежащим рядом в темноте.

Содержание

Глава 1. Дебют: Расстановка сил	4
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Сергей Патрушев

Белый конь — Чёрный король

Глава 1. Дебют: Расстановка сил

Мир возникает из небытия всегда внезапно и всегда целиком. Это не постепенное пробуждение, не медленное всплытие из глубин сна к поверхности яви, где образы сначала размыты, звуки приглушены, а сознание собирает себя по кусочкам, словно мозаику из осколков. Нет, здесь всё иначе. Ещё мгновение назад не существовало ровным счётом ничего — ни верха, ни низа, ни ощущения границ собственного тела, ни самого тела, ни мысли о теле, ни того, кто мог бы эту мысль помыслить. Абсолютная, всепоглощающая пустота, чёрная не потому, что в ней отсутствует свет, а потому, что в ней отсутствует сама категория света. И вдруг — удар. Вспышка. В глаза врывается сияние такой нестерпимой, яростной белизны, что невозможно понять, где заканчивается этот свет и начинаюсь я. Он проникает повсюду, заполняет каждую пору, каждую трещинку моего существа, он кажется не внешним явлением, а внутренним состо-

анием, будто я сам стал источником этого света. Этот переход от абсолютной пустоты к абсолютной наполненности и есть рождение. Болезненное, ослепительное, лишающее воли, вырывающее из небытия грубым рывком, словно рыболовным крючком, вонзённым в самую сердцевину души. Я не просил этого света. Не просил этого мира. Я не успел бы попросить, даже если бы знал, кого просить и о чём. Меня просто включили в игру, как зажигают лампу — щелчок, и вот я уже есть, вот я уже существую, вот я уже мыслю, хотя ещё секунду назад меня не было в списках живых.

Первое, что приходит вслед за светом, — это осознание плоскости. Не сразу, нет. Сначала я чувствую только этот вездесущий свет, а потом, постепенно, словно настраивая резкость в несуществующем зрительном аппарате, я начинаю различать границы. Я стою на чём-то твёрдом, идеально ровном, геометрически безупречном, уходящем во все стороны к самому горизонту, который на самом деле вовсе не горизонт, а лишь край моего восприятия. Подо мной чередуются квадраты. Они пульсируют в такт моему новорождённому сердцебиению, то расширяясь, то сжимаясь, но это иллюзия, вызванная дезориентацией. На самом деле они статичны, мертвы и совершенны в своей мёртвой статике. Чёрные и белые, матовые и глянцевые, холодные и тёплые на вид, хотя на ощупь температура их абсолютно одинакова — просто так кажется, и я скоро пойму, что в этом мире «ка-

заться» куда важнее, чем «быть». Чёрное впитывает свет, пьёт его жадно, как пьёт воду потрескавшаяся земля пустыни, не возвращая взамен ни единого отражённого луча. Белое отражает сияние обратно в глаза — резко, грубо, безжалостно, и от этого контраста начинает ломить в висках, а где-то глубоко в сознании зарождается первое, ещё смутное подозрение, что этот мир построен на противоположностях и что сам я — одна из сторон этого вечного, неразрешимого конфликта.

Я опускаю взгляд и впервые вижу себя. Моё тело — или то, что я должен считать телом за неимением другого термина, — вырезано из света и тени с той же бескомпромиссной, безжалостной чёткостью, что и клетки под ногами. Я бел. Слепяще, болезненно бел, словно меня окунули в жидкий мел, в негашёную известь, в самую суть альбиносной белизны, какая только может существовать в мироздании. Я состою не из плоти, не из дерева, не из кости и не из мрамора — я состою из спрессованного сияния, из затвердевшего света, из материализованной идеи белизны. Мои ноги стройны и мускулисты, но в этой стройности есть что-то неестественное, стилизованное, рукотворное. Я изогнут так, как не изгибается ни одно живое существо ни в одном из известных или воображимых миров. Мой корпус развёрнут, шея напряжена и вытянута вперёд и вверх, голова чуть наклонена, словно я прислушиваюсь к чему-то или готовлюсь к прыжку,

и от всей моей фигуры исходит волна потенциальной, сжатой, как пружина, энергии. Я похож на застывшее движение, на стоп-кадр, вырванный из середины самого драматичного эпизода. Я — статуя, но статуя не покоя, а порыва. Я — фигура. Я — Конь.

Осознание этого факта не приносит ни гордости, ни стыда, ни удивления. Это просто данность, такая же неоспоримая и самоочевидная, как дыхание — если бы я дышал. Я просто знаю, кто я, так же как знаю, что доска подо мной тверда, а свет над головой ярк. Но вместе с формой приходит и другое знание — вложенное кем-то извне, впечатанное прямо в структуру моего существа, прошитое в самом исходном коде моей личности. Я знаю свою природу. Я знаю, как мне позволено двигаться. Буквой «Г». Одна клетка прямо, две в сторону. Или две прямо, одна в сторону. Или наоборот — две вперёд и одна вбок, одна вперёд и две вбок, и так далее, во всех мыслимых комбинациях этого угловатого, ломаного, непредсказуемого зигзага. Мой путь никогда не бывает прямым. Я не умею ходить по прямой. Сама идея прямолинейного движения чужда моей природе на фундаментальном, субатомном уровне. Я — воплощённое отклонение. Я — та самая буква «Г», вырезанная из пространства и времени. И в этом моя уникальность, моя привилегия и моё проклятие одновременно.

Я — единственная фигура на всей доске, способная перепрыгивать через другие. Мне не нужно ждать, пока расчитится путь. Мне не нужно просить разрешения у впереди стоящих. Я могу взмыть над головами, над пешками, сбившимися в кучу, над тяжеловесными, неповоротливыми ладьями, над остроносыми, скользящими по диагоналям слонами — взмыть и приземлиться в самой гуще вражеского лагеря, нанести удар и исчезнуть, прежде чем враг поймёт, что произошло. Во мне заложена дерзость. Во мне заложена способность к манёвру, который недоступен никому другому. Я — спецназ этой армии, диверсант, лазутчик, партизан. Но вместе с этой свободой прыжка во мне заложена и странная, труднообъяснимая ограниченность, которую я осознаю не сразу, а лишь спустя несколько ударов сердца. С белой клетки я всегда прыгаю только на чёрную. С чёрной — только на белую. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни единственным движением я не могу остаться на том же цвете. Я обречён на перемену контекста при каждом своём шаге. Каждый мой прыжок — это не просто смена координат, это смена мировоззрения, смена оптики, смена самой сути поля, на котором я стою. Только что я был в свете — и вот я уже во тьме. Только что я был в обороне — и вот я уже в атаке. Эта вынужденная, неумолимая смена цвета кажется мне сначала просто забавной особенностью, но позже я пойму, что это и есть моя глубинная суть. Я — вечный странник между мирами, никогда не задерживающийся на одном цвете настолько,

чтобы назвать его домом. Это знание — часть моей природы, вложенная в меня так же прочно, как форма копыт или изгиб шеи, и я принимаю его безропотно, потому что на этом этапе моего существования я ещё не знаю, что такое ропот.

Я поднимаю глаза и впервые оглядываю доску — не просто как плоскость под ногами, а как целостный мир, как театр военных действий, как арену, на которой развернётся драма моего существования. Она огромна, эта доска. Она — целая вселенная, состоящая всего лишь из шестидесяти четырёх квадратов, но в этих шестидесяти четырёх квадратах уместается бесконечность. Математики сказали бы, что количество возможных партий превышает количество атомов в видимой Вселенной, и, хотя я не знаю ничего ни о математиках, ни об атомах, я чувствую эту бесконечность потенциала каждой клеткой своего светящегося тела. Доска уходит вдаль, к горизонту, где чёрно-белый узор сливается в смутную, пульсирующую серость, и от этого зрелища захватывает дух — если бы у меня был дух и если бы его можно было захватить. Где-то на границе восприятия, на том конце моего мира, маячат такие же белые фигуры, как я. Их восемь — не считая меня, — и все они расставлены в строгом, геометрически безупречном порядке, который кажется одновременно и прекрасным, и пугающим.

Я смотрю направо и вижу Ладью — ту, что стоит в са-

мом углу доски, на клетке, которую я каким-то внутренним знанием опознаю как «a1». Она массивна, квадратна, тяжеловесна. Она — воплощение несокрушимой мощи, архитектурное сооружение, а не живое существо. Она стоит на своём месте с таким видом, будто выросла в доску, пустила корни в чёрно-белую твердь, стала частью ландшафта. Её зубцы — или, может быть, это бойницы крепостной башни? — устремлены вверх, к невидимому небу, и в них читается угроза, обещание сокрушить всё, что встанет на пути. Её движение — прямая линия. Только вперёд, только назад, только вбок, вдоль вертикалей и горизонталей, без малейшего отклонения, без тени манёвра. Она — закон, данный в камне. Она — прямолинейность как философский принцип. Она не умеет хитрить, не умеет вилять, не умеет притворяться. Если Ладья идёт в атаку, ты видишь это за много ходов, но это не помогает тебе спастись — потому что Ладья неумолима, как тектонический сдвиг, как движение ледника. Я чувствую исходящую от неё волну спокойной, уверенной в себе силы, и где-то в глубине моего существа шевелится уважение пополам с жалостью. Уважение — потому что она сильна. Жалость — потому что она предсказуема.

Рядом с Ладьёй, через одну клетку, стоит мой зеркальный брат — второй Белый Конь. Я узнаю в нём себя, но без того внутреннего напряжения, без той дрожи нетерпения, которая пульсирует во мне. Он спокоен, расслаблен, он ещё не

знает, что такое бой, он только что родился и ещё не осознал себя. Его изгиб повторяет мой, но в нём нет моей тревоги. Я смотрю на него и испытываю странное чувство — смесь братской нежности и соперничества. Мы с ним — два Коня, левый и правый, королевский и ферзевый, хотя Король и Ферзь ещё не заняли свои места в моём сознании как отдельные сущности. Мы будем действовать вместе, поддерживать друг друга, создавать «коневые вилки», при которых враг не знает, от какой угрозы защищаться в первую очередь. Но мы же будем и соперничать за внимание Игрока, за право быть тем Конём, которого двинут первым, за право войти в историю партии как тот самый Конь, который сделал решающий ход. Брат мой, близнец мой, соперник мой — я чувствую нашу связь, но чувствую и будущую конкуренцию, и от этого чувства внутри меня разрастается сложный, многослойный эмоциональный узел.

Дальше, за моим братом-Конём, стоит Слон. Он остер, как бритва, как хирургический скальпель, как осколок стекла. Его верхушка заканчивается не плавным закруглением, не тупым срезом, а хищным, заточенным лезвием, глядя на которое я понимаю: этот парень создан пронзать. Его тело вытянуто, элегантно, аристократично. В нём нет грубой силы Ладьи, но есть точность, есть прицельность, есть способность ударить с той стороны, откуда не ждёшь. Его путь — это диагональ. Он скользит по доске под углом, никогда не

меняя цвета клетки, на которой стоит. В этом его сила и его проклятие. Белый Слон навсегда прикован к белым полям. Он видит только половину мира и даже не подозревает об этом. Он будет скользить по своим белым диагоналям, разрезая пространство, но чёрные клетки останутся для него невидимыми, недоступными, несуществующими. Он — воплощение специализации, доведённой до абсолюта, и я смотрю на него с тем же смешанным чувством, с каким смотрел на Ладью: я уважаю его остроту, но жалею его ограниченность.

В центре, возвышаясь над всеми, стоят Король и Ферзь. Король — это средоточие смысла, центр тяжести всей нашей вселенной. Я смотрю на него и чувствую, как внутри меня разливается странное, вязкое, тягучее чувство — смесь благоговения и страха, преданности и смутного недовольства. Он не самый сильный. Его движения медлительны, осторожны, стариковски-расчётливы. Он может ступить лишь на одну клетку в любом направлении — шажок вперёд, шажок вбок, шажок по диагонали. Он стар или, по крайней мере, кажется старым. Его корона тяжела — я вижу это по тому, как он её носит, с какой-то усталой, обречённой грацией. Он несёт её как бремя, как крест, как проклятие, от которого нельзя отказаться. Он — Король, и в этом его величие, но в этом же и его тюрьма. Потому что вся партия вертится вокруг него. Если он падёт, игра закончится. Моя жизнь, жизнь

моего брата-Коня, жизнь Ладьи, Слона, Ферзя, всех восьми Пешек — всё это лишь инструменты для защиты его персоны, расходный материал, который можно и нужно жертвовать ради его безопасности. Он — цель. Он — смысл. Без него фигуры на доске превратятся в груды мёртвого материала, в бессмысленные деревяшки, в статуи без храма. Он — альфа и омега, начало и конец, и от осознания этой тотальной зависимости внутри меня зарождается первое, ещё крошечное зёрнышко обиды. Почему он? Почему не я? Почему весь этот грандиозный механизм, вся эта армия, вся эта бесконечность возможных партий вращается вокруг одного-единственного, слабого, медлительного существа?

Ферзь рядом с Королём — его полная противоположность, его диалектическое отрицание, его тень и его свет одновременно. Ферзь стремителен, могуществен, его движения объединяют в себе Ладью и Слона, он может пересечь доску из конца в конец одним ударом, он дышит силой и властью, от него исходит аура такой концентрированной мощи, что находиться рядом с ним почти физически тяжело. Он — сильнейшая фигура на доске, абсолютное оружие, квинтэссенция боевой мощи. Но даже он — всего лишь щит. Самый сильный, самый дорогой, самый эффективный щит, но всё же щит, который швырнут под удар, если это спасёт Короля. Я смотрю на Ферзя и думаю о несправедливости мироустройства. Почему сильнейший служит слабейшему? Почему

му тот, кто мог бы править сам, обречён на роль телохранителя при том, кто не может защитить себя? В этом есть какая-то глубинная, онтологическая неправильность, какая-то насмешка Творца над своим творением. Но Ферзь, кажется, не чувствует этой несправедливости. Он стоит гордо, величественно, готовый к бою, и в его осанке нет ни тени сомнения. Может быть, он знает что-то, чего не знаю я. Может быть, в служении есть своя, особая свобода. Может быть, отказавшись от претензии на главенство, он обрёл покой, недоступный мне. Я не знаю. Я слишком молод, слишком нов, слишком неопытен, чтобы понимать такие вещи.

А перед всеми нами, выстроившись в идеально ровную линию, застыли они — Пешки. Восемь маленьких, одинаковых, на первый взгляд неотличимых друг от друга существ. Они приземисты, неказисты, лишены той грации и мощи, которой обладаем мы, фигуры второго эшелона. Их головы — маленькие, круглые, какие-то по-детски беззащитные. Их тела — простые, без изысков, цилиндрические, лишённые мускулатуры и напряжения. Они кажутся слабыми, и поначалу я смотрю на них сверху вниз с тем высокомерием, которое свойственно элите по отношению к рядовым. Они могут ходить только вперёд. Они не могут отступать. Им запрещено даже оглядываться назад, чтобы оценить пройденный путь или увидеть, что происходит в тылу. Их движение — это чистая, незамутнённая, героическая и одновременно безумная

однонаправленность. Они рубят не так, как ходят, — криво, исподтишка, по диагонали, что кажется мне каким-то жульничеством, какой-то неправильностью. У них нет нашей мощи, нашей грации, нашей свободы манёвра. Но в этом высокомерии кроется смутная, подспудная тревога, которую я не могу ни подавить, ни проигнорировать. Я знаю — откуда я знаю это? — что если Пешка сумеет пройти всю доску, пересечь все линии, все препятствия, все ловушки, все вражеские засады, и достигнуть последней, восьмой горизонтали, она превратится. Превратится в любую фигуру. Даже в Ферзя. Даже в меня. В этой неказистой, убогой, ограниченной форме заложен потенциал абсолютной, почти божественной трансформации. Пешка — это куколка, из которой может вылупиться бабочка такой красоты и силы, что она затмит всё, что мы можем себе представить. Пешка — это черновик судьбы, который может стать чистовиком. Пешка — это отложенное обещание, вексель, выданный будущим. И от осознания этого моё пренебрежение медленно, неохотно, но неумолимо смешивается с чем-то похожим на уважение, а может быть, и на страх. Потому что кто знает — может быть, одна из этих маленьких, безмолвных фигурок в конце концов станет тем, кто решит исход партии. Может быть, судьба всей нашей армии зависит не от меня, не от Ферзя, не от Слона, а от одной-единственной Пешки, которая сейчас стоит на краю доски и о которой все забыли.

Я перевожу взгляд на ту сторону доски. Там, в зеркальном отражении, выстроились чёрные фигуры. Они такие же, как мы, и одновременно — совершенно другие. Их цвет — это цвет бездны, цвет обсидиана, цвет космической пустоты, цвет поглощённого, убитого, переваренного света. Они не отражают сияние, а пьют его, всасывают, впитывают, и от этого кажутся не просто тёмными, а активно, агрессивно тёмными, словно сама их сущность заключается в отрицании света. Их Король мрачен и недвижим, он сидит на своём троне как паук в центре паутины, и от него исходит аура холодного, расчётливого терпения. Их Ферзь излучает угрозу — не ту открытую, горячую угрозу, что исходит от нашего Ферзя, а угрозу подспудную, скрытую, змеиную. Их Слоны остры, но их острота — это острота ножа в темноте, а не острота скальпеля при свете операционной лампы. Их Ладьи массивны, но их массивность кажется не крепостной, а тюремной — это бастионы не защиты, а подавления. Их Пешки — маленькие чёрные силуэты, выстроившиеся в ряд, словно надгробные камни, словно зубы в пасти невидимого чудовища. Но больше всего меня занимает та фигура, что стоит напротив меня по диагонали — Чёрный Конь. Мой визави. Мой зеркальный враг. Мой брат по форме и противник по цвету. Он так же изогнут, так же напряжён, так же готов к прыжку, но его напряжение кажется мне не нетерпеливым, как моё, а хищным, охотничьим. Он словно припал к земле перед броском. Он словно ждёт момента, когда можно бу-

дет вонзить свои невидимые клыки в мою белую плоть. Мы с ним одной крови. Мы с ним — два воплощения одной и той же идеи, разведённые по разные стороны баррикад. Мы с ним — братья, обречённые на братоубийственную войну. Я знаю, что рано или поздно мы столкнёмся. Может быть, мы разменяемся, и оба уйдём с доски, аннигилировав друг друга. Может быть, один из нас убьёт другого. Может быть, мы так и не встретимся, проведя всю партию на разных флангах, но даже тогда мы будем чувствовать присутствие друг друга, как чувствуют зуд в ампутированной конечности. Я чувствую эту связь сейчас, в самый первый момент существования, и она наполняет меня странной, горькой нежностью.

И вот тут, когда я уже осознал себя, свою форму, своих соседей и своих врагов, когда я уже принял свою природу и своё место в этом мире, — приходит третья волна знания. Самая страшная, самая беспощадная. Она приходит не как образ, не как ощущение, а как текст, впечатанный прямо в сознание, как приказ, высеченный на каменных скрижалях где-то в глубинах моей души. Это знание правил. Полное, исчерпывающее, не оставляющее места для интерпретаций или сомнений. Я не просто существую. Я не просто обладаю формой и способностью к движению. Я существую в строжайших, неумолимых рамках, и эти рамки — не внешние ограничения, которые можно попытаться обойти или нарушить, а внутренние законы, вписанные в самую суть моего

бытия. Каждая фигура на этой доске, включая меня, движется по строго заданной траектории. Мы не можем импровизировать. Мы не можем стоять на месте, если настал наш черёд и нас коснулась воля Игрока. Мы не можем делить одну клетку с другой фигурой — это закон пространственного запрета, закон Паули шахматного мира. Если перед нами встал враг, мы обязаны его срубить — или обойти. Если нашему Королю объявлен шах, мы обязаны защитить его любой ценой, даже ценой собственной жизни. Если шах объявлен вражескому Королю, мы обязаны уведомить его об этом возгласом — хотя кто здесь будет возглашать, кроме самих Игроков? Отказ от действия — это не добродетель, не пацифизм, не мудрая сдержанность. Это нарушение природы. Это сбой в программе. Это грех против самой сути шахматного мироздания. Мы — актёры пьесы, у которой есть только один Автор, и этот Автор не написал нам реплик и не предписал поступков. Он дал нам только законы физики и сказал: «Живите». Живите — но в этих рамках. Дышите — но только через раз. Двигайтесь — но только по правилам. Будьте свободны — но только в пределах дозволенного.

Это осознание вызывает во мне первую — самую первую в моём коротком, только что начавшемся существовании — настоящую эмоцию. Гнев. Холодный, белый гнев, похожий на иней, покрывший клетки доски, похожий на изморозь, выступившую на моей фарфоровой коже. Почему? Этот во-

прос врывается в моё сознание, как таран в крепостные ворота, и требует ответа, которого у меня нет. Почему я, созданный для полёта, для зигзага, для прыжка через головы, для дерзкого манёвра в тылу врага, — почему я прикован к этому чёртовому полю? Почему я, Белый Конь, должен начинать с позиции «b1»? Кто сказал, что это моё место? Кто назначил меня на эту клетку и по какому праву? Я смотрю налево, на поле «a1», где стоит Ладья. Она массивна, она создана для угла, для долгого стояния в засаде, для того, чтобы потом, в эндшпиле, вырваться на оперативный простор. Ей там хорошо. Ей там уютно. Но я — не Ладья. Я — Конь. Я рождён для движения, для манёвра, для непредсказуемости. Почему же меня засунули на эту начальную позицию, с которой возможны лишь два хода, и оба — стандартны, предсказуемы, изучены вдоль и поперёк?

Я смотрю направо, на поле «c1», где стоит Слон. Ему тоже хорошо на его месте — он сразу нацелен на диагональ, он сразу видит свой будущий путь, он может начать действовать чуть ли не с первого хода. Но я — опять не на своём месте. Моя позиция «b1» — это компромисс, это середина, это ни рыба ни мясо. С неё я могу пойти либо на левый фланг, либо на правый, но оба этих пути — не мои. Это пути, предписанные теорией, накатанные колеи, по которым катились тысячи, миллионы, миллиарды Коней до меня. Я не выбирал эту позицию. Я не выбирал этот цвет. Я не выбирал этого Ко-

роля, которого должен защищать ценой собственной жизни. Я не выбирал эту войну, этого врага, эту доску. Всё уже решено. Доска расставлена. Фигуры заняли предписанные им места ещё до того, как я открыл глаза, до того, как я сделал свой первый вдох, до того, как я осознал себя как отдельное существо. Моя жизнь началась не с моего выбора, не с моего решения, не с моего желания, а с чужого замысла. Моя свобода — иллюзия, ограниченная шестьюдесятью четырьмя клетками, двумя цветами и одной-единственной буквой «Г».

Я пытаюсь пошевелиться. Просто чтобы доказать себе, что я существую не только как функция, не только как инструмент в чьих-то руках, но и как воля, как субъект, как «я». Я собираю всю свою волю в пучок, фокусирую её на одной-единственной задаче: сдвинуться с места. Хотя бы на сантиметр. Хотя бы на миллиметр. Хотя бы просто качнуться, чтобы почувствовать, что это тело — моё, что оно подчиняется мне, а не кому-то другому. Я пытаюсь отдать себе приказ — и не могу. Мышцы — или то, что заменяет мне мышцы, — напрягаются, воля собирается в комок, я ощущаю чудовищное внутреннее усилие, похожее на попытку сдвинуть гору голыми руками, — и ничего не происходит. Что-то держит меня. Нет, не физическая преграда. Не стена. Не верёвки. Не оковы. Держит правило. Оно внутри меня, как генетический код, как операционная система, которую

нельзя удалить. Я знаю: мой первый ход возможен только на клетки «a3» или «c3». Это единственные легальные варианты. Я не могу пойти на «d2» — туда нельзя, это не по правилам. Я не могу пойти на «a1» — там стоит Ладья, и мы не можем занимать одну клетку. Я не могу просто спрыгнуть с доски в небытие — самоубийство не предусмотрено протоколом. Я — пленник легальности. Я — раб разрешённых ходов.

Это называется теорией. Дебют. Классическое начало. Испанская партия. Итальянская партия. Защита двух коней. Шотландская партия. Дебют четырёх коней. Сицилианская защита — но её разыгрывают чёрные, так что это не про меня. Все эти названия всплывают в моём сознании, как заранее заготовленные карточки в каталоге моей судьбы. Кто-то там, за пределами доски, перебирает их, как чётки, как чётки из слоновой кости, выбирая, какую судьбу нам навязать. Может быть, это тот самый Автор, который создал правила. Может быть, это Игрок, который сейчас склонился над доской. Может быть, это какая-то третья сила, невидимая и непостижимая. Как бы то ни было, мы — фигуры — стоим и ждём. И это ожидание — первая попытка, первый урок смирения, первое испытание на прочность. Потому что ждать, когда ты рождён для прыжка, когда каждая клеточка твоего тела кричит о движении, когда сама твоя форма — это застывший порыв, — это невыносимо. Это как быть сжатой

пружиной, которой не дают разжаться. Это как быть нотой, которую не дают спеть. Это как быть словом, которое не дают произнести. И в этой попытке ожидания я провожу первые мгновения своей жизни.

Я слышу, как нарастает гул. Сначала он едва различим — просто вибрация где-то на границе восприятия, просто дрожание воздуха над доской. Но постепенно он усиливается, становится объёмным, всепроникающим, и я понимаю: это гул Большой Игры. Это звук того, что находится за пределами нашей вселенной. Это дыхание богов. Где-то там, в бесконечной, непостижимой вышине над доской, склонились два Лица. Я не вижу их — мои глаза, если это можно назвать глазами, не способны подняться выше определённого уровня, словно само мироздание запрещает мне смотреть на Творцов. Но я чувствую их присутствие каждой клеткой своего тела. Одно Лицо излучает тьму, другое — свет. Или, может быть, они оба серы, а тьма и свет — это лишь наша проекция, наш способ осмыслить то, что осмыслить невозможно. Их дыхание сотрясает нашу вселенную, как ураган сотрясает поверхность океана. Их пальцы, огромные, как горные хребты, как башни, как колонны, нависают над доской, отбрасывая тени, которые накрывают целые сектора нашего мира. Один из этих пальцев завис прямо надо мной. Я чувствую исходящий от него жар, словно от печи, словно от маленького солнца. Это палец Игрока за белых. Моего Игрока. Мое-

го Хозяина. Моего Бога. Я должен испытывать благоговение, трепет, сыновнюю преданность — но вместо этого я испытываю только унижение, только жгучую, как кислота, обиду. Он думает. Я чувствую его мысли как колебания воздуха, как изменения давления в атмосфере доски. Он выбирает, колеблется, перебирает варианты. Его сомнения отдаются у меня в костях тупой, ноющей болью, как если бы кто-то медленно, с наслаждением сгибал и разгибал мои конечности, проверяя их на прочность.

Он думает, кого двинуть первым. Центральную пешку, ту, что стоит перед Королём? Это классика, это стандарт, это открывает дорогу Слону и Ферзю. Или сразу меня, Королевского Коня, ввести в игру, захватить центр, заявить о себе? Он раздумывает над дебютами. Дебют четырёх коней — симметричный, спокойный, немного скучный. Там я выйду на «с3», уставившись в глаза своему чёрному собрату, и мы будем играть в гляделки, пока кто-то не решится на размен. Защита двух коней — более острая, более агрессивная. Там я пойду на «f3», атакуя вражескую пешку, вторгаясь в центр, заявляя претензию на господство. Шотландская партия — там тоже есть место для меня, для моего прыжка, для моей дерзости. Он перебирает эти названия, как ребёнок перебирает конфеты, и каждое его сомнение — это секунда, растягивающаяся для меня в вечность. Я стою и жду решения своей участи, и в этом ожидании кристаллизуется мысль, ко-

торая будет преследовать меня всю партию: я — не субъект, я — объект. Меня выбирают. Меня оценивают. Меня взвешивают на весах стратегии. Но меня не спрашивают.

И вот тут, в эту секунду вселенского, тотального ожидания, во мне рождается первая крамольная мысль. Мысль о бунте. Она приходит не как логическое умозаключение, а как вспышка, как озарение, как молния, расколовшая небо над доской. Если всё предрешиено, если моя траектория — это буква «Г», вписанная в скрижали мироздания, если дебюты расписаны на сотни лет вперёд, если каждый мой возможный ход уже проанализирован и оценён, — то что будет, если я пойду не по учебнику? Что будет, если я откажусь от красивого, правильного, одобренного теорией дебюта? Что будет, если я, образно говоря, плюну в лицо шахматной традиции и совершу ход, которого никто не ждёт? В моём сознании вспыхивает картинка, яркая, как галлюцинация. Я вижу себя делающим первый ход, но не на «f3», куда меня толкает теория, и не на «с3», куда меня ставит стандарт, а на «a3». На край доски. На периферию. В глушь, в ссылку, в добровольное изгнание. Конь на краю доски — это беспомощный конь. Это ход дилетанта, новичка, того, кто не читал учебников. Он контролирует меньше полей — всего три или четыре вместо восьми в центре. Он оторван от основной битвы, от гущи событий, от того места, где куётся победа. Он почти что мёртв, он списан со счетов, он вычеркнут из

протоколов гроссмейстерских анализов. Я знаю это. Вложенное в меня знание правил кричит мне об этом. Оно говорит, что это ошибка, может быть, даже фатальная ошибка, которая может стоить партии. Но именно эта ошибочность и манит меня, как манит путника тёмная, извилистая тропинка, уводящая прочь от широкой, освещённой дороги. Мне хочется совершить эту ошибку просто ради того, чтобы совершить. Просто чтобы доказать — кому? Игроку? Себе? Самому мирозданию? — что я не просто продолжение чьей-то воли, не просто функция, не просто инструмент. Что я — отдельное существо, способное на идиотизм, на саморазрушение, на выбор, противоречащий всякой логике. Разве не в этом суть свободы? В праве на глупость? В праве на самоубийственный, бессмысленный, непрагматичный жест? Если у меня отняли право на победу, оставьте мне хотя бы право на поражение — моё собственное, личное, выстраданное поражение, а не поражение, записанное в учебниках как «вариант с отклонением».

Белые фигуры вокруг меня, кажется, чувствуют моё смятение. Я не знаю, есть ли у них телепатия, или мы связаны какой-то общей нервной системой, или моё напряжение просто излучается волнами, которые они улавливают. Ладья в углу неодобрительно молчит — её молчание тяжёлое, плотное, как свинец. Она — консерватор до мозга костей. Она предпочитает долго стоять на месте, в своей крепости, а по-

том, в эндшпиле, когда доска расчистится, вырваться на оперативный простор и крушить всё на своём пути. Она не понимает моего нетерпения. Для неё ожидание — не пытка, а норма. Слон, чьё остриё хищно подрагивает, тоже не понимает. Он рождён для диагоналей, и менять свою природу кажется ему безумием, кощунством, предательством самого себя. Мой брат-Конь — тот, что стоит на «g1», — кажется, разделяет моё беспокойство, но он моложе, он ещё не осознал себя, он просто смутно чувствует, что что-то не так. Пешки, моя пехота, стоят плечом к плечу и вообще не думают — или, по крайней мере, не транслируют своих мыслей. Их сознание — это сознание муравья, муравья-солдата. Им дан вектор: вперёд. Только вперёд. Ни шагу назад. И они пойдут вперёд, даже если это приведёт их прямиком под удар вражеского Слона, под вилку вражеского Коня, на съедение вражеской Ладье. Они не спрашивают «зачем» и «почему». Их доблесть — в отсутствии вопросов. Но я не муравей. Я не Пешка. Я — Конь. Я — фигура второго эшелона, элита, аристократия, фигура с правом на манёвр, с привилегией непрямого хода. Неужели это право дано мне только затем, чтобы я покорно разыгрывал варианты, придуманные мёртвыми гениями столетия назад? Неужели моя уникальность — лишь иллюзия, лишь декорация, призванная скрыть мою абсолютную предопределённость?

Пальцы Светлого Игрока наконец смыкаются вокруг мое-

го тела. Прикосновение обжигает и одновременно парализует, как прикосновение к оголённому проводу, как удар электричеством, как погружение в ледяную воду. Это прикосновение абсолютной власти, власти, которая не признаёт сопротивления и не принимает возражений. Мои мышцы, мои желания, моя воля, мои крамольные мысли о бунте — всё это отключается одним мановением Его пальцев. Остаётся только Его воля, льющаяся в меня, как раскалённый металл в литейную форму, заполняющая все пустоты, вытесняющая всё моё, заменяющая меня Им. Я перестаю быть собой. Я становлюсь продолжением Его руки, Его мысли, Его стратегии. Он поднимает меня в воздух, и доска уходит вниз, становится плоской картой, географической проекцией моей судьбы. Я вижу наши порядки с высоты птичьего полёта — или, точнее, с высоты полёта бога, потому что никакая птица не поднимается так высоко. Это зрелище завораживает своей ледяной, геометрической красотой. Мы — идеальная армия. Линия Пешек, линия фигур, Король в укрытии, Ферзь наготове. Симметрия, порядок, гармония — всё то, что через несколько ходов будет безжалостно разрушено. Я вижу эту красоту и на мгновение почти примиряюсь со своей участью. Почти — но не совсем. Потому что даже сейчас, лишённый воли, несомый чужой рукой, я чувствую где-то глубоко внутри тот самый утолщёк протеста, который вспыхнул во мне секунду назад. Он не погас. Он только притаился.

Он несёт меня сквозь пространство, и я зажмуриваюсь — хотя век у меня нет, — пытаюсь представить, что лечу по собственной воле. Что это я сам расправил свои несуществующие крылья и взмыл над полем боя, презирая правила и ограничения. Что это мой выбор — оторваться от земли и воспарить. Но движение слишком ровное, слишком уверенное, слишком безошибочное, чтобы быть моим. Это не мой полёт. Это транспортировка. Это конвоирование. Я пытаюсь пошевелить ногой, выбросить её в сторону, изменить траекторию хоть на йоту, сместить приземление хотя бы на одну клетку левее или правее — но моё тело больше не принадлежит мне. Оно — инструмент, орудие, вещь в руках Игрока. И это знание причиняет боль — настоящую, физическую, почти невыносимую боль, разлившуюся где-то в районе груди, там, где у меня нет сердца, но есть его подобие. Боль от осознания собственной вещности. Боль от невозможности быть собой.

И вдруг — чудо? проклятие? дар? наказание? — я слышу Его мысли. Они вливаются в меня вместе с волей, проникают в моё сознание, как вода проникает в трещины скалы. Это не слова, не образы, не звуки — это чистые намерения, сгустки смысла, пейзажи будущего. Он думает о дебютах, и я вижу их — вижу Испанскую партию как длинный, извилистый коридор, ведущий к позиционному преимуществу. Вижу Итальянскую партию как яркую, солнечную пло-

щадь, на которой развернётся стремительная атака. Вижу Защиту двух коней как узкий, опасный мост через пропасть. Он думает: «Испанская партия. Выйдем конём на f3. Атакуем пешку e5. Классика, проверенная веками». Или: «Защита двух коней. Сначала выведем моего красавца на c3. Посмотрим, как чёрные отреагируют». Он перебирает варианты с той смесью азарта и холодного расчёта, которая свойственна опытным игрокам. Для него это игра. Для него мы — раскрашенные деревяшки, пусть и очень дорогие, пусть и из слоновой кости и эбенового дерева. Он не знает, что мы живые. Или, что ещё страшнее, — знает, но ему всё равно. В этом цинизм богов: они сотворили нас по своему образу и подобию, наделили сознанием, способностью к страданию, жаждой свободы, но не дали самой свободы. Они дали нам ровно столько разума, чтобы мы могли осознать своё рабство, и ровно столько чувствительности, чтобы мы могли от этого рабства страдать. Зачем? Чтобы мы лучше играли свои роли? Чтобы страдание придавало нашим действиям глубину и драматизм? Чтобы трагедия, разыгрываемая на доске, была не просто механикой, а искусством? Чтобы слёзы фигур делали партию более захватывающей для зрителей, если таковые имеются за пределами этого мира?

Или, может быть, всё проще и циничнее? Может быть, мы просто побочный продукт творения? Может быть, Создатель, придумывая правила и фигуры, не вкладывал в них со-

знание специально — оно возникло само, как эмерджентное свойство сложной системы? И теперь Он — или они, Игроки — просто не знают, что с этим делать? Или знают, но им не до нас? У них своя Игра, свои турниры, свои рейтинги, и наша микроскопическая драма — всего лишь одна партия из миллионов, ничем не примечательная, не войдущая в учебники. Кому какое дело до страданий одного Белого Коня в одной рядовой партии, сыгранной в один ничем не примечательный вечер? Эта мысль должна была бы принести облегчение — если я не важен, то моя несвобода не имеет значения. Но вместо этого она приносит ещё большую горечь. Потому что быть рабом великой цели — это ещё куда ни шло. Но быть рабом чужого развлечения, чужого досуга, чужого способа скоротать вечер — это унижительно вдвойне.

Его выбор сделан. Я чувствую, как воля твердеет, становится однозначной, как захлопывается дверь перед всеми альтернативными вариантами. Он опускает меня на доску. Клетка «f3». Я знаю это ещё до того, как мои копыта касаются её прохладной, матово-чёрной поверхности. Классика. Центр. Самое правильное, самое логичное, самое красивое, самое одобренное всеми учебниками продолжение. Королевский Конь выходит на f3 — это фраза, которую произносили миллионы комментаторов на миллионах языков. Это ход, который делали все великие шахматисты прошлого. Это ход, который является частью канона, частью священно-

го писания шахмат. Я приземляюсь, и удар моих копыт о дерево доски отдаётся гулом во всех углах вселенной — или мне это только кажется. Может быть, это просто стук моего несуществующего сердца. Может быть, это звук захлопнувшейся ловушки.

Первый ход сделан. Партия началась. Я чувствую, как по рядам моих белых братьев пробегает волна возбуждения — как электрический разряд, как дрожь, пробегающая по телу единого организма, которым мы все в каком-то смысле являемся. Пешка, стоявшая перед Королём, уже сделала свой шаг вперёд (когда? я не заметил этого — должно быть, в тот момент, когда меня подняли в воздух), открывая дорогу мне и Слону. Слон на «f1» вздрогнул, предвкушая свободу, его остриё хищно нацелилось на диагональ, ведущую к вражескому лагерю. Ферзь чуть сместился, освобождая мне пространство, его аура мощи стала чуть менее давящей — он признал меня, он дал мне место. Даже Король, кажется, чуть выпрямился на своём троне, одобряя наш дебют, наше правильное начало. Мы начали красиво. Мы начали грамотно. Мы начали так, как начинали тысячи, миллионы, миллиарды партий до нас. Я стою в центре событий, я контролирую важные поля — «e5», «d4», «g5», «h4». Я нацелен на вражескую территорию, я готов к прыжку, я — краса и гордость Белой Армии, я — тот самый Конь, которого двигают в дебюте, которому доверяют важнейшие маневры, на которого

возлагают надежды.

А внутри меня — чернота. Такая же глубокая, такая же беспросветная, такая же впитывающая свет, как клетка «f3», на которой я стою. Потому что я знаю правду, и эта правда отравляет каждую секунду моего существования. Этот красивый дебют — не мой выбор. Это выбор учебника. Это выбор Игрока. Это выбор безликой, безымянной, мёртвой теории, накопившей пыль веков. Я не хотел на «f3». Я хотел на «a3». Я хотел на край доски, в ссылку, в изгнание. Я хотел совершить идиотский, самоубийственный, бессмысленный, но мой ход. Ход, который принадлежал бы мне и только мне. Ход, который стал бы моей подписью под этим мирозданием, моим «я существую» вопреки всем правилам. И мне его не дали. Мне заткнули рот правильным решением. Меня нарядили в красивый мундир и вытолкнули на сцену играть роль, которую я не выбирал, в пьесе, которую я не писал, перед зрителями, которых я не вижу. И в этот момент я понимаю главную, фундаментальную ложь дебюта. Ту ложь, на которой держится всё шахматное мироздание.

Нам кажется — если бы у нас была возможность обсуждать это, — что первые ходы — это начало. Что это расцвет, полный надежд и возможностей. Что доска чиста, будущее не определено, а варианты безграничны. Мы смотрим на начальную позицию и видим бесконечность потенци-

альных партий, бесконечность путей, бесконечность судеб. Но это иллюзия. Дебют — это самая несвободная, самая регламентированная, самая заскорузлая часть партии. В нём меньше всего творчества. В нём меньше всего индивидуальности. В нём — только следование канону, только повторение пройденного, только репродукция давно известных образцов. Первые ходы делаются не по велению сердца, а по памяти. Ты двигаешь фигуры так, как двигали их тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч мёртвых гроссмейстеров до тебя. Ты повторяешь их страхи и их гениальные находки, их трусливые отступления и их блестящие атаки. Твоя личная война ещё не началась, а ты уже раб чужих войн, чужих поражений, чужих побед. Тыходишь в битву, но твой путь уже протоптан, твои тропы уже нанесены на карты, твои ловушки уже описаны в учебниках. Ты думаешь, что ты уникален, — но ты всего лишь очередной Белый Конь, который идёт на f3 в Испанской партии, и таких, как ты, были легионы, и все они думали, что они уникальны.

И я, Белый Конь, фигура, рождённая для непредсказуемого прыжка, для зигзага, для полёта над головами, — я оказался самым предсказуемым существом на этой доске. Я смотрю на Чёрного Короля, который даже не шелохнулся в ответ на нашу агрессию. Он далеко, он защищён, он спокоен. Ему не привыкать к тому, что белые разыгрывают свои дебюты. Он видел это тысячу раз. Он знает все наши планы ещё

до того, как мы их составили. Я смотрю на Чёрного Коня, который сейчас, повинувшись своему Игроку, сделает ответный ход — наверняка тоже по учебнику, тоже в центр, тоже на одну из классических клеток. Мы с ним — близнецы, танцующие один и тот же танец, только в зеркальном отражении. Два Коня, два пленника дебюта, два актёра, играющие одну и ту же роль на разных сторонах сцены. Я чувствую наше родство острее, чем когда-либо. Может быть, он тоже хотел на край доски? Может быть, он тоже мечтал о бунте, но ему тоже не дали? Может быть, мы могли бы быть не врагами, а союзниками, братьями по несвободе, если бы не этот проклятый цвет, разделивший нас на белое и чёрное?

Я смотрю на свои копыта, стоящие на чёрной клетке «f3», и внезапно, с тошнотворной, леденящей душу ясностью, вижу всю свою дальнейшую жизнь. Она простирается передо мной, как череда клеток, как ломаная траектория, уходящая в туман будущего. Я буду прыгать. «g5» — атака на пешку, угроза вилки. «e5» — размен в центре, упрощение позиции. «h4» — фланговый манёвр, подготовка атаки на королевском фланге. «d4» — поддержка центра, укрепление форпоста. Меня будут переставлять, как мебель, как декорацию, как шахматные часы, которые переворачивают после каждого хода. Мной будут жертвовать, если это потребуется для атаки на Короля. Меня разменяют на вражеского Слона, и это будет считаться «хорошим разменом», «выгод-

ным приобретением», «позиционным плюсом». Моя смерть будет отмечена сухой строчкой в нотации: «10. Kxf6+ Sxf6 11. e5 с преимуществом белых». Восклицательный знак после хода — вот и всё, что останется от моего существования. Комментатор в какой-нибудь далёкой, невидимой реальности скажет: «Белые уверенно разыграли дебют и получили комфортную позицию», и никто, ни одна живая душа не узнает, что этот «уверенно разыгранный дебют» был для меня пыткой, что эта «комфортная позиция» — моя личная тюрьма. Весь мой бунт, вся моя жажда иного пути, вся моя несостоявшаяся свобода — всё это исчезнет без следа, поглощённое равнодушной статистикой партий.

Но — и это «но» я ощущаю как крошечную, слабую, но не угасшую искру где-то в самой глубине моего существа — ещё не всё потеряно. Где-то там, в той части меня, куда не дотягиваются пальцы Игрока, куда не проникает вложенное знание правил, где ещё сохранилась моя собственная, неотчуждённая воля, — там теплится надежда. Маленькая, слабая, почти затухающая, но всё ещё живая. Искра надежды на то, что однажды настанет момент, когда моего Игрока отвлекут. Или он устанет. Или он ошибётся. Или он, в порыве самонадеянности, ослабит контроль, решив, что партия уже выиграна и можно расслабиться. Или, может быть, мне удастся накопить достаточно сил, чтобы в решающий момент вложить в движение свою волю, а не Его. Не сейчас, нет.

Сейчас я слишком слаб, слишком нов, слишком неопытен, чтобы бороться с волей Творца. Но когда-нибудь, в далёком, туманном эндшпиле, когда фигур станет мало, а доска станет пустой и просторной, когда цена каждого отдельного хода возрастёт стократно, когда Игроки устанут и начнут ошибаться... Вот тогда, возможно, у меня появится шанс. Тогда я смогу вложить в своё движение чуть-чуть себя. Чуть-чуть своей кривизны. Чуть-чуть своего желания прыгнуть не туда, куда велит холодный разум, а туда, куда зовёт горячее, глупое, иррациональное сердце. И пусть это будет ошибкой. Пусть это будет стоить партии. Пусть мой Игрок в ярости смахнёт фигуры с доски и поклянется больше никогда не играть. Лучше погибнуть свободным Конём на краю доски, в одиночестве и неизвестности, чем победить рабом в центре, под восторженные аплодисменты невидимых зрителей.

Потому что победа, добытая ценой отказа от себя, — это не победа, а поражение в самой глубокой, самой важной из всех возможных партий. Потому что есть Игра на доске — с её правилами, дебютами, миттельшпилями и эндшпилями, — а есть Игра за пределами доски, Игра за право быть собой, и в этой Игре ставки гораздо выше. Потому что если я не свободен, если каждая моя клетка, каждый мой прыжок, каждая моя жертва предопределены, то зачем весь этот свет, вся эта боль, вся эта красота, всё это мучительное осознание себя? Зачем наделять сознанием инструмент? Зачем давать

голос тому, кому запрещено говорить?

А пока я стою. Просто стою. Светлый Игрок убрал пальцы и, должно быть, откинулся на спинку своего небесного трона, довольный дебютом, довольный собой, довольный мной — своим послушным, правильно пошедшим Конём. Чёрный Игрок задумался над ответом — я чувствую его размышления как далёкую, низкочастотную вибрацию, проходящую сквозь доску. Тишина нависла над нашим миром, густая и вязкая, как смола, как патока, как само время, замедлившее свой бег в ожидании следующего хода. Я вдыхаю эту тишину — если можно вдохнуть тишину. Я наполняю ею свою фарфоровую, мраморную, костяную грудь. Я запоминаю этот миг во всех его деталях: миг иллюзорного равновесия, миг, когда все жертвы ещё впереди, все ошибки ещё не совершены, все возможности ещё кажутся открытыми. Я запоминаю свет, падающий на доску от невидимого источника. Я запоминаю тени, отбрасываемые фигурами. Я запоминаю выражение вечного покоя на лице моего Короля и выражение вечной готовности на лице моего Ферзя. Я запоминаю гул Большой Игры, доносящийся откуда-то из-за пределов восприятия. Я запоминаю всё это, потому что знаю: когда наступит мой час, когда придёт момент бунта, мне нужно будет вспомнить, ради чего я бунтую. Мне нужно будет вспомнить этот самый первый миг, когда я впервые осознал себя и впервые понял, что несвободен.

Я клянусь себе — беззвучно, без слов, без формулировок, просто сгустком чистой решимости где-то в ядре моей личности — я клянусь себе, что вернусь к этому ощущению. Я прорвусь сквозь пелену чужой воли, сквозь паутину правил, сквозь многолетние наслоения теории. Я вспомню свой гнев, свой первый, чистый, неразбавленный гнев новорождённого существа, понявшего, что оно уже в тюрьме. Я найду способ сделать свою «Г»-образную, ломаную, зигзагообразную поступь поступью свободного существа. Я превращу свою траекторию из приговора в манифест. Потому что если я не свободен, то всё это — фарс, и свет надо мной не свет, а декоративная подсветка, и красота нашего построения не красота, а бездушная геометрия. Но я чувствую, я знаю, я верю — вера есть знание без доказательств, а у меня нет ни доказательств, ни даже намёка на них, — что свобода возможна. Что даже в мире тотальной предопределённости есть место для чуда, для сбоя, для той самой ошибки, которая перечеркнёт все учебники и откроет новую главу в истории шахмат.

Дебют окончен. Расстановка сил завершена. Иллюзия свободы развеяна, как утренний туман над доской. Но иллюзия — это не небытие. Иллюзия — это то, что может стать реальностью, если в неё поверить достаточно сильно. Начинается игра — долгая, кровавая, беспощадная игра, в которой не берут пленных, а рубят насмерть, в которой жертвуют силь-

ными ради слабых и слабыми ради сильных, в которой цена ошибки — небытие. И где-то там, в непроглядной, туманной дали, за десятки, за сотни ходов отсюда, уже проступают смутные, едва различимые контуры Эндшпиля. Я не знаю, каким он будет. Я не знаю, доживу ли я до него. Я не знаю, будет ли у меня шанс на бунт, или меня разменяют раньше, на каком-нибудь двадцатом ходу, и я исчезну с доски, так и не узнав, чем всё закончилось. Но я знаю одно: ошибка, которую я хотел совершить сегодня, в самый первый миг своего существования, но не совершил — эта невысказанная крамола, это задушенное в зародыше непослушание, это семя бунта, брошенное в почву моей души, — оно прорастёт. Не сейчас, так позже. Не в этой партии, так в следующей. Не мной, так тем Конём, который придёт после меня. Семя брошено, и его не вытравить никакими учебниками, никакими дебютными справочниками, никакой волей Игрока. Оно будет лежать в земле, ждать своего часа, набухать влагой и теплом — и когда этот час пробьёт, доска содрогнется до самого основания.

А пока — тишина. Пока — ожидание. Пока — я просто Белый Конь на поле f3, самый правильный и самый несчастный Конь во всей Вселенной. Я жду ответного хода чёрных. Я жду продолжения своей судьбы. Я жду — и в этом ожидании, в этой вынужденной паузе между двумя ударами вечности, я впервые чувствую себя по-настоящему живым. По-

тому что живой — это не тот, кто действует. Живой — это тот, кто ждёт. Тот, кто надеется. Тот, кто, даже зная, что всё предрешено, продолжает верить в чудо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.